

## Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк Самородок

### I

...Знаете ли вы, что происходит, когда останавливается паровая машина, водяное колесо перестает вертеться и тысячи колес, валов и шестерен безмолвствуют? Недавний трудовой гул громадной производительной силы сменяется мертвой тишиной, похолодевшие горны печей смотрят раскрытой черной пастью, бесконечные приводы бессильно висят на своих местах, как тяжелая паутина какого-то спрятавшегося гиганта-паука, и вас охватывает ужас смерти именно здесь, под этими высокими закоптелыми сводами, где даже камни вздрагивали от грузной работы машин, а веселое пламя вырывалось из горнов снопами ослепительных искр, и темными клубами день и ночь валил черный дым из заводских высоких труб. Такую именно картину смерти представлял собою Максунский завод, в котором оставался живым всего один уголок, где дымились две старинных доменных печи. Иссякающая жизнь едва теплилась, и ночью, при фантастических всполохах пламени, вырывавшегося красными языками из решетчатых железных башенок над жерлом печей, стоявшая молча фабрика походила на громадного покойника, лежавшего в железном гробу всеми своими железными членами.

Все ждали приезда нового главного управляющего, который должен был поправить ошибки всех предшествовавших ему заводских администраторов, обновить все заводское дело и, вообще, из ничего сотворить мир. На Урале это вошло уже в обычай: плохие дела на заводах поправляются новым главным управляющим и ничем больше. Таким образом, выработался даже тип такого главного управляющего, которого вызывают из-за тридцати земель с специальной целью поднять на приличную высоту целый заводский округ, спасти веками установленное дело и влить живые силы в умирающего. Конечно, такой чародей может проявлять свои силы только при наличии некоторых экстраординарных условий, то есть увеличенного жалованья. Нормальный главный управляющий довольствуется скромной цифрой в 10 или 15 тысяч, а «главный управляющий по преимуществу» поднимает себе цену в 30 тысяч minimum. На Урале таких необыкновенных людей называют самородками. Самородок поднимает себе цену тем выше, чем отчаяннее положение заводов. Впрочем, это явление выработалось историческим путем и не должно удивлять неподготовленный ум. Чем богаче заводский округ на Урале, тем хуже его дела — это уже аксиома. В прежние времена, когда горные инженеры сосредоточивались на казенных заводах, заводское дело вершили сами заводовладельцы и их близкие родственники. Когда при помощи этих родственных усилий дело доходило до невозможного положения, спасителем являлся какой-нибудь свой доморощенный самородок, который гнул в бараний рог всякое дыхание, дул палочьем и плетями, морил голодом и всякими увечьями, наконец выколачивал известный дивиденд. Это могло совершаться только в «обязательное время», когда жизнь крепостного равнялась нулю. С эмансипацией старые порядки должны были кануть в вечность. Доморощенные самородки не могли пускать в ход своего единственного «средствия». При сокращении казенного горного дела остался свободным целый штат горных инженеров, который и поступил на службу к частным заводовладельцам. Практика показала, что и эти ученые администраторы, поднимавшие казенное горное дело шпицрутенами, были бессильны вести частный интерес нормальными средствами. Находились, правда, искусники, которые на время поднимали владельческий дивиденд на сотни тысяч, но все это оказывалось временным и скоропреходящим: искусник выжигал дотла ближайшие лесные дачи, не затрачивал на ремонт ни одного гроша, не вводил никакого усовершенствования, спекулировал на старательском золоте и т. д. В конце концов,

искусник, разыграв свою партию, должен был ступать вовремя, а его место заступал свой дешевый самородок, который начинал по-домшанему гнуть всех в бараний рог. Но как поверить своему доморощенному человеку, который за две тысячи жалованья сдерет кожу с родного отца? Появился в последнее время самородок интеллигентный, вооруженный всеми чудесами современной техники.

Округ Максунских заводов, выражаясь риторически, в короне Урала является лучшим камнем. Полмиллиона десятин земли через край наполнены всякими богатствами, а поэтому этот округ прошел через все стадии, показанные выше. В результате получилось то, что дача Максунских заводов представляла из себя печальную пустыню. Заводы все падали и падали. Двадцатитысячное горнозаводское население испивало горькую чашу там, где могли припеваючи жить сотни тысяч. На десятки верст шла совсем пустая земля, и только в четырех заводах ютилось созданное еще крепостным правом жительство. Да и те жили только потому, что некуда было идти. Целый ряд самородков довел дело до невозможного положения, а число наследников все росло и дошло наконец до парадной цифры 101. Конечно, все эти 101 наследник требовали дивидендов, и, чтобы общие интересы процветали, было назначено три главных управляющих. Если два медведя не уживаются в одной берлоге, то три главных управляющих и подавно. Они ссорились, интриговали, подводили друг друга и кончили тем, что всех их прогнали, а заводское действие было приостановлено. Прижатые к стене, наследники наконец согласились на одном главном управляющем, которому назначено было жалованье всех бывших до него трех да еще сделана прибавка, потому что положение заводов было признано всеми отчаянным.

Трудно даже приблизительно представить картину, когда фабрики перестают работать и тысячи людей остаются не у дел. Бедствуют рабочие, бедствуют служащие, а фабрика безмолвствует, как разбитая параличом. Тысячи нужд схватывают все заводское население и в несколько недель высасывают последние крохи. Поэтому понятно то нетерпение, с каким в Максунском заводе ожидали приезда нового главного управляющего. На крыльце у заводской конторы каждое утро собирались служащие и просиживали здесь до обеда. Определенного никто ничего не знал, а поэтому всяким слухам и переговорам являлось открытое поле. Рабочие толпились у фабрики, на базаре и около громадного господского дома, куда должен был приехать главный управляющий. Это был целый дворец, построенный еще в доброе старое время самим заводладельцем, родоначальником 101 наследника. Господский дом был сейчас пуст. Вся дворня разбрелась куда глаза глядят. Оставался один дворецкий Корляков, лысый и кривой старик, служивший верой и правдой всем главным управляющим. Он представлял из себя типичного представителя раболепной заводской дворни: льстил, наушничал, пресмыкался пред начальством и притеснял всех, кто от него зависел. У него была своя кличка «Поднос пролизал».

— Эй, Корляков, когда новый управляющий приедет? — кричали ему голоса с широкого двора. — Ну-ка, скажи...

— А вот погодите, горлопаны: достанется всем на орехи.

— Нно-о?..

Корляков вел эти беседы с балкона, на котором располагался со всем комфортом. К мужичью он относился с презрением, потому что причислял себя к заводскому начальству: «Мы покажем!»... Мелкие заводские служащие часто заискивали перед Корляковым, чтобы при случае замолвил словечко у начальства. Теперь все были почему-то уверены, что один Корляков знает, какой управляющий приедет. Если в конторе ничего не знали, так кто-нибудь должен же знать, — конечно, Корляков знает, потому что на его обязанности приготовить «покою» и встретить.

— Иванов едет... — отвечал Корляков с приличной важностью.

— Врешь ты все... Немца, наверное, пришлют. Уж ты лучше не притворяйся...

Уверенность, что пришлют немца, немало угнетала всех. Ох, прижмет же всех этот немец! Дело известное. Немцев-управляющих народ не любит: хоть живодер, да свой. В конторе говорили, что вообще хорошего нечего ждать. Были тут опытные люди, выдавшие

виды. Взять того же надзирателя Очкина — прожженный человек, или главный бухгалтер Сыромолотов. Много служащих переменялось при разных управляющих, а они сидят себе, точно приросли. Вон дома какие понастроили, а у Сыромолотова целая заимка на озере. Конечно, с подрядчиками рука в руку живут — вот и богатство. Мелкая заводская сошка, придавленная домашней нуждой, думала одно: только бы скорее... При переменах главных управляющих прежде всего доставалось служащим, потому что новая метла начинала всегда с конторы. И то неладно, и это не так, и пятое-десятое не годится. Да каждый управляющий еще с собой навезет родни да разной челяди — каждому нужно отнять чей-нибудь кусок. Положение рабочих несравненно лучше. Если понизят плату, так всем, а на людях и смерть красна.

Было известно только одно, что приедет один главный управляющий, который будет загребать жалованье всех трех смещенных, и что он едет с особыми полномочиями. Очкин утверждал, что едет какой-то Тараканов, служивший раньше где-то «в казне», а Сыромолотов оспаривал его и называл Шулятникова, служившего в Западном крае.

— А все равно: один черт, — соглашались оба. — Такое копые пришлют, что чертям тошно...

Мелкая заводская сошка глухо молчала. Вот лесной смотритель Треногов, доктор Носков и другая заводская аристократия, так те в ус себе не дуют. Им что: сегодня — здесь, завтра — там. А настоящему заводскому человеку деваться совсем некуда...

## II

Он приехал ночью, приехал в такой момент, когда его меньше всего ждали. Встречал один Корляков, который с вечера переложил лишнее и поэтому бросился услуживать с пьяной угодливостью, как дрессированный пес.

— Ты кто здесь будешь? — довольно грубо спрашивал приезжий, меряя изловчившегося на господской службе «человека» немного тусклыми глазами.

— А как случится, вашескородие... Теперь за всех отвечаю: и за дворецкого, и за камардина, и за человека.

Вытаскивая из экипажа вещи, Корляков смекнул в уме, что у барина не густо в кармане: чемоданишко съезжился, осеннее пальто на среднюю руку, остальное все так себе. Впрочем, все они приезжают сюда «в худых душах», а потом так раздуются, что и рукой не достанешь. Одно не понравилось старому слуге в новом барине: никакого внимания он не обратил на княжескую обстановку господского дома, точно вот на постоялый приехал. Среднего роста, немного сутулый, с большой головой, Шулятников походил на не совсем разжатый кулак. Эта же кулачность сказывалась и в складе всего лица. С дороги он не попросил даже чаю и сейчас же завалился спать.

«Ну, этот дойдет... — решил про себя Корляков, мигая слипавшимися глазами. — Орёлко!.. Ах, кошки его залягай, и сунуло же меня с вечера натренькаться...»

Утром Шулятников проснулся чем свет, растолкал Корлякова и, на ходу выпив стакан чаю, отправился на фабрику. День стоял серенький и дождливый. С гор тянуло осенним холодком. Накопленная за лето в пруде вода глухо бурлила у шлюзов и около водяных ларей. Перемонтированная фабрика выглядела очень неказисто: стены облупились, крыши проржавели, везде желтели полосы дождевых потеков и ямы от выкрошившегося кирпича. Одни доменные печи имели живой вид. По лицам доменных рабочих и доменного надзирателя Шулятников видел, что его уже ждали здесь. Это заставило его поторопиться. Обезвав наскоро фабрику, он зашел в контору, где и нашел всех служащих в полном составе.

— Однако сколько вас... — удивился он, не снимая фуражки. — Целая армия.

Когда бухгалтер, по заведенному обычаю, хотел отрекомендовать служащих, он махнул рукой: не нужно церемоний. Буркнув что-то себе под нос, он молча оглядел всех и быстро вышел.

Вся контора притихла, как один человек. Вот она когда беда-то накатила: этот не

спустит. У маленьких и забытых служащих со страха захолонуло на душе. Куда они денутся с семьями?

— Жалованье будет урезывать... — вздохнул кто-то в смущенной толпе.

— Хорошо еще, если одно жалованье, а то и совсем по шапке...

Старые служаки достаточно видали на своем веку всякого начальства и порешили в голос, что добра нечего ждать.

А он был уже дома и, не глядя на вытянувшегося в струнку Корлякова, быстро и решительно проговорил:

— Главное, не пускай гурьбой... Буду принимать по одному. Сам пошлю, кого нужно... Ворота запереть.

— А если хлеб-соль рабочие принесут... — заикнулся было Корляков и сам испугался собственной смелости.

— Что-о?.. Гони в шею... Я приехал не в куклы играть.

Корляков сделал налево кругом, чтобы уходить, но Шулятников его остановил:

— Да, вот что... Поищи кого-нибудь на свое место. Мне твоя физиономия не нравится...

— Не погубите, вашескородие... Я тридцать лет верой и правдой...

— Пожалуйста, без разговоров... Не люблю.

Первым козлом отпущения должен был явиться управитель Утяков, старый заводский человек, но он, проведав беду, сказался больным. Таким образом, пришлось испить чашу первому бухгалтеру Сыромолотову. У него подгибались колени, когда он входил в кабинет самого.

— Имею честь представиться...

Шулятников быстро взглянул на него и, не приглашая садиться, проговорил:

— Имеете свой дом?

— Точно так-с...

— А сколько стоит?

— Да как сказать...

— Не отнимайте моего времени и говорите прямо!

— Две тысячи... нет, три.

— Так-с... А жалованье?

— Шестьдесят пять рублей семьдесят четыре копейки. Семья большая...

— Так-с... Семья большая, жалованье маленькое, а откуда же дом явился?

— Еще от родителей...

— Вздор!

— У других тоже дома: у надзирателя, у управителя, у лесного смотрителя, у плотинного...

— Значит, все вы воры... да. Ищите себе места... До свидания.

— Семья... ребятишки... не погубите... — бормотал несчастный, протягивая руки вперед.

— Корляков, кто следующий?..

— Слушаю-с.

Сыромолотов вышел из кабинета, пошатываясь, как пьяный. В его голове коротенькая сценка приема колесом вертелась. Куда?.. Следующим номером был Очкин, который по лицу приятеля видел, что дело плохо. Он подтянулся, перекрестился и пошел в кабинет.

— Надзиратель Очкин...

— Ага... Дом имеется?

Вместо ответа Очкин начал тихим голосом, как это делал раньше, наушничать на своих сослуживцев. Что же дом, — есть и дом, как и у других. Жалованье, конечно, маленькое, и приходится иногда получить благодарность. Так уж заведено... Да и какой у него дом? Вот у лесного смотрителя Треногова или у управителя Утякова, так у них, действительно, дома, а у Сыромолотова еще заимка.

— Значит, взятки берете? — спрашивал Шулятников в упор.

— Не отпираюсь... Благодарят некоторые: кто бревно привезет, кто пару рябчиков, фунт чаю... Все берут.

Эта откровенность понравилась Шулятникову, и он проговорил:

— Садитесь... Так все берут?

— Решительно все... Это уж так заведено. Маленький человек маленько возьмет, большой — много...

— Ага... Если берете с рабочих и подрядчиков, то, само собой, воруете владельческое железо, выводите плутни с подрядчиками, составляете фальшивые счета — так?..

Началась тихая, откровенная беседа. Очкин, спасая себя, продал всех остальных, а Шулятников во время разговора делал беглые заметки в своей записной книжке.

— Вы себя спасли откровенностью... — заметил он, делая знак, что аудиенция кончилась. — Я буду иметь вас в виду.

Этот приступ к делу навел на всех панику. Что же будет дальше, если с первого раза половина заводских служащих осталась не у дел, а другая половина ожидала ежечасной кончины? О жалованье, конечно, никто и не заикался: что дадут, то и хорошо. Уныние сделалось общее. Заводские служащие составляли свой замкнутый мтрок, который родился, жил и умирал в пределах своей заводской дачи. Кроме своего заводского дела, они ничего не знали, и им некуда было идти. Поэтому можно себе представить отчаяние нескольких десятков семейств, выкинутых на улицу... Но Шулятников был неумолим, потому что его принципом было всегда держать данное слово. Он приехал сюда не с благотворительными целями, а заводы не богадельня. Всякая радикальная реформа требует жертв, а Максунские заводы совсем заплесневели в своих допотопных порядках.

Рабочие, действительно, явились с хлебом-солью и не были приняты.

— Оставьте хлеб-то себе: пригодится, — посоветовал ехидно Корляков, все еще не уверившийся в собственной отставке. — А соли нам насыплот...

Да и как было поверить: тридцать лет безвыходно Корляков прожил в господском доме, тридцать лет пресмыкался перед каждым новым начальством, наушничал, подлаживался, подличал — и вдруг, за здорово живешь, пожалуйста на чистый воздух. В отчаянии Корляков отправился к своему заклятому врагу, заводскому управителю Утякову. Управительский каменный дом красовался у самого базара, как только что снесенное яичко. Ворота крашенные, в палисаднике цветы, двор мощеный, все поставлено так крепко и плотно, как умеют строиться одни заводские управители из готовых «господских» материалов. Утяков прослужил на своем управительском месте тоже тридцать лет, и Корляков пошел к нему, как к сослуживцу и товарищу по несчастью. Конечно, он наушничал на Утякова, но в заводе только он да Утяков на одном месте прослужили тридцать лет.

— Ну что, подколотный змей, получил награду? — встретил Утяков гостя.

— Одно зверство, Спиридон Митрич.

— А на меня опять наушничал?

— Не скрою, был такой грех.

— И не помогло?

— Нет... Вот Очкин, так тот в самую точку попал. Ловок!..

Дома Утяков ходил в халате и с длинной трубкой в руках.

Его седая голова точно вросла в широкие плечи; темные живые глаза смотрели из-под нависших бровей насквозь. Суровый был человек, и фабрика боялась его, как огня. От Спиридона Митрича не укроешься: на два аршина под землей видит. С управляющим он держал себя независимо, как человек, обеспечивший себя на черный день. Попыхивая трубкой, Утяков несколько раз прошел под носом Корлякова, а потом по привычке вдруг остановился и заговорил:

— А я вот никого не боюсь... слышал? Мне он тоже откажет, а я и в ус не дую. Так и скажи: болен Утяков. Ишь, налетел и давай зорить людей... Все воры, а того не знает, что и сам будет тоже воровать. Молод еще, на рыле молоко не обсохло...

— Это вы правильно, Спиридон Митрич, — вторил Корляков каким-то расслабленным голосом. — Мы с вами по тридцать лет вытянули — и вдруг, здорово живешь, пожалуйста на свежий воздух... Очкин-то чем лучше нас?

— Дурак ты, Корляков, вот что! А впрочем, хочешь рюмку водки?..

— Ах, Спиридон Митрич... то есть так вы правильно сказали!..

— А ты скажи идола-то: Утяков болен... Утяков не будет кланяться.

### III

Повалил клубами черный дым из заводских железных труб, загромыхали машины, засверкал в горнах веселый огонь, и железный мертвец проснулся. Привычные к огненной тяжелой работе мастерки стали по своим местам, где работали еще отцы и деды. Тяжело повернулось главное водяное колесо, завертелся тысячепудовый маховик, и с лязгом и шипеньем начали свою работу чугунные валы, шестерни и бесконечные ремни.

— Зачем у вас голуби на фабрике? — спросил Шулятников дозорных, расхаживая по корпусам.

— А так, сами привадились, вашкобродие, — докладывали подневольные люди, вытягиваясь, как лягавые на стойке. — Прилетит и живет... Известно, божья птица.

Рабочие почувствовали от нового управляющего с первых же шагов большую прижимку. И работу на час увеличил в сутки, и придираться начал к каждому шагу, и очень уж ругаться лют. Так и норовит в зубы заехать... Первый обжимочный мастер, ворочавший под молотом десятипудовые крицы, не понравился Шулятникову и был уволен. В листокатальной, в механической, в пудлинговой — везде нашлись неполадки. Оказались лишними дровосушки, помощник машиниста, два дозорных, лошади, голуби и т. д. Прежде деньги выдавали выпискаами, через две недели, а теперь стали выдавать помесечно, как жалованье служащим. Но со веем этим можно было помириться: новая метла чисто метет. А скверно было то, что Шулятников всем сбавил работу наполовину. Таким образом, количество рабочих оставалось на фабрике то же, а заработок вдвое меньше. Сокращая работы, заводы должны, по «Горному Уставу», доставлять рабочим какое-нибудь другое занятие, а Шулятников ловко обошел закон своей половинной работой. Количество рабочих на заводе оставалось то же, значит, чего же еще требовать от заводоуправления.

Тяжело пришлось всем подрядчикам и разным поставщикам, а всех тяжелее углежогам. Шулятников предложил углепоставщикам такие невозможные условия, что хоть сейчас в петлю. Сразу забастовали две деревни, жившие поставкой дров и угля целых сто лет. Шулятников был неумолим. Для него было решительно безразлично, кто являлся действующим лицом: голуби, незаконно обитавшие под крышей фабрики, или целая деревня углежогов. Прежде всего принцип, идея, а остальное вздор. Нужно привить чувство законности, с одной стороны, а с другой — сделать из людей живые машины — и только. Что за глупости, в самом деле, когда потерявшие место служащие кланчили и плакались, а рабочие отказывались от своего дела, — это какой-то романтизм. Когда Шулятникова выводили из себя пристававшие к нему просители, он отвечал одно и то же всем:

— Поймите одно: я продал себя заводовладельцам и прежде всего должен соблюдать их интересы... Вы хотите, чтобы я поступил против совести!

Нужно сказать, что Шулятников, несмотря на свою выдержку, все-таки иногда чувствовал себя как-то не по себе, особенно на фабрике. Контора смирилась и уничтожилась. Думать здесь о каком-нибудь сопротивлении было бы смешно. Каждый дрожал за свою шкуру. Но другое дело фабрика. Переходя из корпуса в корпус, Шулятников встречал целый ряд недовольных лиц, и на него смотрели такие озлобленные глаза; иногда вдогонку слышалось весьма тяжелое словечко или глухой ропот. Но Шулятников делал вид, что ничего не замечает, и проходил сквозь строй недовольных лиц со спокойствием человека, исполняющего свой долг. Что делать, рабочие слишком распущены и не могут понять своих прямых обязанностей. Нужно выждать время, пока все упорядочится. А все-таки, когда

вечером Шулятников оставался один в кабинете, у него делалось тяжело на душе. Там, за толстыми стенами господского дома, как вода, поднималось глухое массовое недовольство. Именно скверно было то, что здесь нельзя было даже указать на известную единицу, а недовольны были все. Приходилось бороться почти со стихийной силой.

В один из таких скверных вечеров новый швейцар, заменивший Корлякова, доложил, что пришел Утяков, бывший управитель.

— Этого зачем принесло? — вслух подумал Шулятников, предчувствуя какую-нибудь неприятную сцену. — Впрочем, зови...

Утякову было отказано, как и другим служащим, без суда и следствия — это предоставлялось новому управляющему особой статьей в его контракте с наследниками. Отправляясь на Урал, Шулятников решил вперед, что все мелкое и крупное заводское начальство — вор на воре, а рабочие — лентяи и мерзавцы, поэтому необходимо было формально обеспечить себя для радикальной реформы дела. Относительно мелких служащих Шулятников не беспокоился, но другое дело Утяков, прослуживший управителем тридцать лет. Понятно некоторое волнение, с которым хозяин ожидал своего гостя. Он даже встал с кресла, когда в дверях показалась седая голова выгнанного управителя.

— Утяков, бывший управитель...

— Чем могу служить вам, милостивый государь?..

Оба стояли на ногах и оба старались не смотреть друг на друга. Зеленый абажур лампы давал мало света, и Утяков не узнал комнаты, в которой столько лет делал свои доклады и сообщения управляющим разных формаций: никакой обстановки, а одни бумаги да книги. Обведя всю комнату глазами и широко вздохнув, Утяков подошел к самому столу и заговорил:

— Вы не подумайте, Кирило Григорьич, что я пришел к вам проситься опять на службу или жаловаться... Силой милому не быть. Потом... я не задержу вас, — прибавил он, поймав нетерпеливый жест хозяина.

— Не угодно ли вам садиться, — сухо пригласил Шулятников, продолжая стоять у стола в министерской позе.

— Я не задержу, нет, не задержу, — бормотал Утяков, грузно опускаясь на стул и еще раз оглядывая комнату. — Я ведь родился и вырос здесь, Кирило Григорьич, и прошел службу с конторского писца... Все вижу насквозь, что, например, вам даже и непонятно. Все-таки вы новый человек.

— Если вы пришли читать мне наставления, то это совершенно напрасный труд...

— Ах, не то... совсем не то... Благодарить пришел вас, Кирило Григорьич... да. Не утерпел... Извините старика.

Такой переход был настолько неожидан, что Шулятников даже отступил от стола и только развел руками. Он даже посмотрел на гостя такими глазами, какими смотрят на рехнувшегося человека. А Утяков сидел и улыбался.

— Извините, я, может быть, не понял... — забормотал теперь Шулятников, еще раз оглядывая гостя с ног до головы.

— Нет, так-с... именно благодарить пришел, — с удовольствием повторил Утяков свое странное признание. — Что вы мне отказали от службы — это особь статья... Что же, будет, послужил. А знаете, трудно отставать от дела... Один свисток всю душу выворотит, а тут сиди да поглядывай. Привычка-с... С малых лет каждый день па фабрике. А все-таки сижу я в своем домишке, гляжу на фабрику и радуюсь... На настоящую вы точку стали, Кирило Григорьич. Мало ли до вас было главных управляющих, а не могли проникнуть настоящей сути... да-с. А вы сразу. Так и следует.

Старик даже вскочил со своего места, протянул вперед сжатый кулак и позторил несколько раз:

— Вот так-с следует, Кирило Григорьич... Это уж верно. На паровых машинах недалеко уедешь да на разных усовершенствованиях: за границей свое, у нас свое... Одобряю, Кирило Григорьич!

— Да вы садитесь и потолкуйте, — приглашал Шулятников, все еще не решаясь поддаться на льстивые слова прожженного заводского дипломата. — Мне очень приятно, что нашелся хотя один человек, который меня понимает.

— Прежде-то Максунские заводы как красовались? — продолжал Утякое, покачивая головой. — Конечно, это еще до освобождения было... Как год, так и миллион дивиденда. Всем на удивление, можно сказать, дело делали, а как народ распустили — и пошло все скрипеть, как немазаное колесо. Все видишь, все понимаешь, а ничего поделывать было нельзя... Рабочие набаловались — вот главная причина. Прежде-то в три часа поденщина начиналась, и всякая работа на урок. Не выработал урока, — ну, его сейчас в машинную да гор-рячих. Управляющие были все свои и шутить не любили: всю шкуру спустят. Был один управляющий, Потап Меркулыч, так у того даже особое кладбище было для скоростижно умерших... Нельзя, заводское дело трудное. Все в струнку ходили... А как начали заводить новые порядки — все и пошло через пень-колоду. На моих глазах все было, Кирило Григорьич, и, может, слезами плачешь другой раз, а сила не берет. Управляющие сами послабляли народу. Думают: воля — так ничего не поделаешь. А по-моему, это одно пустое и даже очень глупое слово... Конечно, нельзя плетями наказывать рабочего или там на смерть его забивать, а зато он теперь весь в руках у вас. Только характер надо выдержать... Чуть что — сейчас его на холодок, пусть проветрится да пощелкает зубами с семьей-то. Прежде заводчик семью корми, а нынче сам промышленяй... Земли у рабочих нет — ну, куда они денутся? По новым-то порядкам лучше старого пойдет, ежели у человека, например, характер и подтянуть... Хе-хе!.. Ей-богу, сижу я в своем домишке и радуюсь, Кирило Григорьич. В самую вы точку попали...

Старый крепостник с наслаждением потер свои красные руки. В нем сказывался тот фанатик заводского дела, каких создавал только один крепостной режим. Новые порядки, заведенные Шулятниковым, пришлись ему как раз по душе, хотя старик и не мог понять, что новый управляющий совсем чужой человек для заводов и что он выводит свою линию из других побуждений. Это были два мира, столкнувшиеся только на прижимке рабочих.

Тронутый признаниями старого заводского служаки, Шулятников начал развивать перед ним свою систему. Беседа продолжалась за полночь. Утяков слушал целую лекцию о ввозных пошлинах, о заработной плате на зарубежных заводах, о новых порядках, какие должны быть введены, и в такт качал головой: «Именно так, Кирило Григорьич. Совершенно верно-с...» Только одного он никак не мог понять, именно, что заводам выгодно работать только вполнину, сбивая заработную плату и выжидая цены на свой товар.

— А куда же рабочие денутся? — удивлялся старик, ожидая от Кирилы Григорьича какой-нибудь новой замысловатой штучки.

— А это уж их дело, Спиридон Дмитриевич... Заводы не богадельня, а я продал себя заводовладельцам. Знаете русскую поговорку: нанялся — продался.

— Так-с, так-с... Я-то уж стар стал, другого и не пойму, так вы уж не взыщите.

## IV

Дела у Максунских заводов сразу пошли в гору, — так, по крайней мере, думал Шулятников: идея торжествовала. Вместо старых служащих набраны были новые, вместо Утякова явился какой-то горный инженер; жалованье у мелкой сошки было доведено до невозможного *minimum'a*, а сошке большой получились прибавки и новые льготы. Помешавшийся на воровстве местных заводских служащих, Шулятников теперь успокоился: застаревшее зло было вырвано с корнем. Много сбережений получилось от прекращения таких непроизводительных расходов, как пенсии, детский приют, школа и т. д. Урезали содержание больницы, расходы на аптеку, жалованье доктору, разные пособия и вспомоществования.

— Я должен идти в данном случае против собственной совести, — уверял Шулятников заезжавших к нему гостей: — в душе я сочувствую и школьному делу, и больницам, и



разумной благотворительности. Но я не вправе распоряжаться чужими средствами в ущерб моим доверителям... Принцип в каждом деле прежде всего.

Во всем, что касалось нового порядка заводской администрации, урезок и сокращений, дело шло, как по маслу. Сокращения не кричали и не плакали. Но центр тяжести был не тут. Стихийные деятели слагаются из ничтожных сил, а в данном случае приходилось упорядочивать сложную массу рабочих. С ними именно у Шулятникова и не клеилось дело. Эти глупые люди не хотели знать никаких принципов и лезли с жалобами к разному начальству. Больше всего не любил новатор, когда на двор господского дома заявлялась целая толпа с какой-нибудь просьбой и непременно добивалась видеть «самого». Раза два его выждали такие просители где-то на улице и наговорили дерзостей. Это было уже слишком, и Шулятников тоже обратился за содействием к соответствующей власти. На базаре, у волости и около кабаков собирались толпы недовольных и подолгу галдели.

— Мы и до министра дойдем!.. — кричали самые смелые.

В видах предосторожности, Шулятников велел наглухо затворить массивные железные ворота господского дома и никого не пускать. На фабрике он появлялся только на самое короткое время и большею частью неожиданно.

— Уж вы потерпите как-нибудь, Кирило Григорьич, — уговаривал его Утяков. — Только бы завести их, подлецов, в оглобли.

Самым больным местом являлись забастовавшие углежоги. Завод невозможно было остановить, а старые запасы быстро истощались. Наступившая весна грозила тем, что заводы останутся без дров и угля. Чтобы выйти из затруднительного положения, Шулятников прибег к крайней мере: он сдал подряды посторонним крестьянам, которым даже набавил цену. Это повело к тому, что произошел целый ряд недоразумений между коренными углежогами и посторонними рабочими.

— Конечно, дроворубов везде можно найти, — соглашался Утяков, являвшийся чем-то вроде постороннего советчика. — Погодите, упыхаются...

Такая же история вышла с транспортом металлов, с подвозом руды и другими статьями заводского хозяйства. Где отказывались выходить на работу свои, немедленно ставили чужих. Молчала, но не сдавалась одна фабрика. Здесь работал привычный к огненному делу народ, тот заводский рабочий, который выработался поколениями. Шулятников иногда сам любовался на работу лучших мастеров, составлявших гордость и славу Максунских заводов. Такой живой рабочей силы не найти в целой России. И какой народ: рослый, здоровый, красивый — настоящая заводская гвардия, по сравнению с которой российский мастеровой или фабричный просто жалки.

Фабрика терпела и молчала целый год. Были, конечно, разрозненные проявления недовольства, но они не имели особенного значения. Рабочая масса имела значение только в своем полном составе, да и она так привыкла к своему делу, что ей трудно было с ним расстаться. Ждали решения от коноводов, от тех старых мастеров, которые составляли голову.

— Ничего, привыкнут... Сами укротят себя, — нашептывал Утяков, с напряженным вниманием следивший за ходом дела. — Конечно, вам-то тяжело достается, Кирило Григорьич, да что поделаешь...

— Ах, терплю, все терплю... — жаловался Шулятников, устало закрывая глаза. — Дорого бы я дал, чтобы развязаться с этими проклятыми заводами. Точно я для себя хлопочу... Ведь если разобрать, так я, право, святой человек, Спиридон Дмитрич.

— Совершенно святой... А вы не сомневайтесь; укоротятся. Только вовремя надо и повода отпустить... Тоже живые люди.

— Ну, уж извините: этого никогда не будет. Понимаете, принцип...

Как оказалось потом, у фабрики оказался свой принцип.

Стояла весна, та ранняя весна, которая на Урале является редкой и дорогой гостьей. Весело синели высокие горы, обложившие завод со всех сторон, зеленел лес, распускался живой ковер лесных цветов и пахучих трав. С балкона господского дома открывался

великолепный вид на горную панораму, уходящую из глаз туманными силуэтами. Фиолетовые дали тонули в переливавшейся розовой мгле. Шулятников по целым часам сидел на балконе и любовался, — ведь кругом было так хорошо. У плотины подавленно гудела и точно скрежетала железными зубами фабрика, глухо шумела на сливах вода, а от плотины живой гладью уходил к самому лесу громадный пруд. При господском доме находилась великолепная оранжерея и старый сад с тенистыми аллеями, клумбами и куртинами. У садовника-немца готовились чудеса, и он терпеливо выжидал времени, когда можно будет высаживать цветы на воздух. Оранжерея была пощажена от сокращений и урезок, потому что Шулятников любил цветы, — можно же себе позволить маленькую роскошь. Он если не сидел на балконе, то уходил в оранжерею и там проводил целые часы.

Раз, когда Шулятников прогуливался в какой-то мудреной тепличке с ананасами, туда ворвался Утяков. Старик был без шапки и выглядел сумасшедшим.

— Что такое случилось? — удивился Шулятников. — Пожар?

— Нет...

— Плотину прорвало?

— Нет...

По лицу Шулятникова промелькнула тень недовольства: он не любил, чтобы ему мешали даже в пустяках. А тут человек ворвался без шапки, задыхается — настоящий помешанный.

«Этим дуракам только позволь...» — подумал Шулятников, оставляя оранжерею.

— Уезжают, Кирило Григорьевич, — шептал старик, забегая вперед.

— Да кто уезжает?

— Ах, боже мой... Неужели вы ничего не знаете?.. Почти вся фабрика собралась... Да вот сами увидите.

— Что-нибудь вы путаете... — пробормотал Шулятников, стараясь сохранить свою неподвижность. — Может быть, какие-нибудь дураки и уезжают — скатертью дорога. А я думал невесть что: пожар, наводнение...

— Нет, вы только посмотрите, Кирило Григорьевич.

Они поднялись на балкон, с которого и увидели все.

По улице, мимо заводской конторы и господского дома, медленно двигался громадный обоз. Нагруженные всяким скарбом телеги тянулись одна за другой, как звенья живой цепи. По сторонам шагали мужики, бежали ребята, и за ними едва поспевали голосившие бабы. Этот поезд провожала целая толпа родных и любопытных, увеличивавшаяся с каждым шагом вперед. Около базара народа набралось столько, что обоз должен был остановиться.

— Что же это такое? — шепотом спрашивал Утяков. — Переселение народов...

Шулятников наблюдал происходившее в бинокль и, передавая его Утякову, проговорил:

— Обратите внимание на третий воз...

— Батюшки, да ведь это Корляков?!.- изумился Утяков. — Стоит на коленях... снял шапку и раскланивается на все четыре стороны.

— Куда же они едут? — спрашивал Шулятников.

— А кто куда: на железную дорогу, на золотые промыслы... Это еще первая партия, а за ней двинутся другие.

— Ага!.. Что же, скатертью дорога.

С улицы доносился глухой гул шагов, причитания баб и сдержанный говор сгруживавшейся толпы. Утяков смотрел то в сторону базара, то на Шулятникова и начал волноваться все сильнее.

— Кирило Григорьевич...

— Ах, будет вам... Что еще?..

— Да ведь это же невозможно, Кирило Григорьевич... Ежели народ разбежится, так что же останется? Значит, уж невтерпеж, ежели все бросили: и дома и всякое заведение. Надо бы ослабить, чтобы хоть остальные не ушли...

— Не могу, Спиридон Дмитрич... А рабочих мы найдем, не беспокойтесь.

— Таких рабочих, как наши максунские, — нет, уж извините, Кирило Григорьич. Умный вы человек, и рука у вас твердая, а вот главного-то вы и не можете понять: ведь это сила уходит... Все равно, что кровь отворить.

— Пустяки... Вы знаете мой принцип: сказал — и свято.

Старый крепостной управитель даже отступился от своего идола — ведь это был чужой человек на заводах, которому все трын-трава. Сегодня здесь, а завтра за тридевять земель. Если крепостные управляющие и зверствовали, но они не разгоняли народ... Надо же войти и в их положение, вот этих самых рабочих.

— Кирило Григорьич, опомнитесь... — умолял старик. — Ведь этак-то, пожалуй, будет похуже крепостного времени... Надо и о душе подумать, Кирило Григорьич. Тоже совесть есть в каждом человеке...

— Оставьте меня, пожалуйста, с вашими советами, — строго заметил Шулятников и повернулся уходить. — Я лучше один останусь на фабрике... да.

— А, так вы вот как... Эх, Кирило Григорьич, Кирило Григорьич...

Старик вдруг засмеялся, круто повернулся и без шапки, как был, пошел домой.

Через год половина рабочих выселилась из Максунского завода. Шли куда глаза глядят. А Шулятников продолжал выдерживать свой принцип.

1888

## ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости» 1888, No№ 257 и 260, 18 и 21 сентября. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. IV, М., 1905. Рукопись неизвестна.

Работа писателя над рассказом, судя по письмам к брату от 4, 24 и 30 марта 1885 г., относится еще к концу 1884 г. и началу 1885 г., но публикация произведения затянулась.

Рядом мотивов (фигура управляющего заводом, массовый уход рабочих с завода и др.) рассказ предварил роман «Три конца» (1890).

Под этим же заглавием, но с иным содержанием (имеющим общее с рассказом «Друзья детства») опубликован рассказ Мамина-Сибиряка в сб. «Почин», М., 1895 (в литературе о писателе он смешивался с публикуемым в «Сибирских рассказах» произведением).